

ФИЕСТА

Всё, в конец уже всё заебалю:
алкоголь, и Монмартр, и дождь.
Но зачем-то прекрасного ждёшь,
чтобы вновь получить по ебалу.

Но ебалу же не привыкать.
Всякий раз уже лет восемнадцать
ты пытаешься счастье помацать,
а беда снова в рожу — хуять!

Ну, утрёшься. И гордо пойдёшь
стороною, что мирная вроде.
Артобстрелы бывают в природе,
но не здесь, обещают... Ну что ж,

ты идёшь. И снаряды невзгод
вкруг ебошат всё ближе и ближе.
Да, нам было херово в Париже,
всякий знает. Но ёбанный рот,

можно сжечь все в камине поленья,
можно печень порвать в исступленьи,
можно хуй потерять в наступленьи,
но Испания, суко, рот фронт!

Там форель пиренейская, блять,
там Памплона, хамон и фиеста.
Ну поехали, нахуй, ну честно,
леди Эшли, ну ёб твою мать.

СТРАХ

Душа в потёмках, взаперти. Душе тоскливо.
Снаружи ночь, снаружи стон и страшный шёпот
о том, что месть сама идёт как справедливость.
И топот сапогов смазных, угрюмый топот.

Под занавеской в темноте огни за речкой
сомкнулись в ряд, на топорах бликует пламя:
«За что распяли вы Христа, гниль человечья?».
И семь свечей, как семь грехов пред зеркалами.

А я был Мойша, мне шесть лет, мне завтра в хедер.
Но мама тянет от окна в провал подвала.
Ах, почему же я не рыжий Хартман Петер,
отец которого у нас гостил, бывало?

Вот и подарок от него — букварь на русском:
вот аз, вот буки, веди — всё понятно.
В подвале холодно, темно на досках узких

и запах здесь всегдашний сыромятный...

А я был Мишка, в картузе, папаша шорник. .
Осьмнадцать мне исполнилось в апреле.
Вчера был понедельник, нонче вторник.
Казённую мы пили всю неделю.

А как не пить в распутицу и слякоть?
Кто виноват в том, что Христос забыл Россию?
Глоток на посошок, буханки мякоть
в карман. Стакан. И бабы, ишь, заголосили.

Там за мостом чужие. Взять хоть Ари,
или Ицхака взять, а хоть бы Хирша...
«Ты это, слышь-ка чо, возьми вот, паря, -
тебя на то благославит всевышний».

Рука на топорище, поп с распятием
и Фрол-сосед, ощерившись, хохочет:
«Покажем непорочное зачатие
Рахельке». Перегар накрыл полночи.

Мне страшно на мосту перед местечком.
Мне страшно в темноте сырой подвала.
Я - Мишка, сын Никиты Поперечного.
Я - Мойша, сын Захарии Сегала.

Мне не избыть проклятье чёрной сотни,
мне не забыть Давида звёзд наддверных.
Но вечный ветер воеет в подворотне:
«Умные нам не надобны. Надобны верные».

СЕРОЕ

За окном апрель двадцать первого
года, града, где пахнет серою.
Обстоятельства, в целом, нервные,
времена, скорей, грязно-серые.

Не свинцовые, не кровавые —
просто цвета асфальта пыльного,
хоть гремят в окно песни бравые,
песни бравые, молодильные.

Песни бравые, речи правые,
удаль бойкая, молодецкая:
то восторг родною державою,
то поход во степи донецкие.

Только медный звук боевой трубы
вязнет в тусклой вате безвременья.

Порубить дубы нам бы на гробы,
белый свет накрыть мрачной теменью...

И дышать совсем мне не хочется
этим снулым, протухшим воздухом.
Ничего никогда здесь не кончится,
и не будет ни сна и ни отдыха,

ни прощения, ни забвения,
ни надежды на воздаяние,
ни хорошего настроения,
ни последнего покаяния.

Рожки сломаны конъюнктурой
или, скажем так, атмосферой.
Ножки вычеркнуты цензурой.
Козлик серенький. Волки серые.

МАША И ЛИФТИК

Тра-та-та, тра-та-та,
вышла Маша из лифта.
Лифт уехал далеко,
Маша дышит глубоко.
Из груди рыдания:
«Лифтик, до свидания!
Ты летишь сейчас туда,
где не ходят поезда,
не летят ракеты,
милый, милый, где ты?
Возвращайся, буду ждать
даже через месяц,
пусть лифтёры на меня
всех собак повесят —
всё равно я буду здесь
тихо жать на кнопку,
буду пить здесь, буду есть,
буду морщить жопку
на ступенях ледяных,
лишь бы ты вернулся,
избежал врагов лихих,
к небу прикоснулся.
Я ль тебе не хороша?
Лифтик, тут всё наше...»
Сигареты, что смешат,
подвернулись Маше.

Небо хмурое, тучи серые,
ветер северный, неумеренный.
Голова моя облысела,

рот, тремя зубами ощеренный.

По такой погоде повеситься
или чаю попить, по Чехову.
В голове моей окоlesiца
прописалась не без успеха ведь.

Май на улице, градус низменный,
как желания и возможности.
Голова — пустышка капризная,
в голове остатки тревожности.

Да и как нам с ней не тревожиться,
как погоде не соответствовать?
Голове палач корчит рожицы,
сбоку плаха лежит, соседствует.

У ЛОГОПЕДА

Гимнастёлку мама подарила мне.
Буду самым главным на большой войне.
А ещё пилотку, танк и сапоги —
пусть меня боятся Лодины влаги.

Папа мне плещет свой гвалдейский бант:
и отклет стальной бабушкин селвант.
Вынет из колобки олден и медаль —
деда Ваня помел, дедушке не жаль.

Сколо День Победы, папа говолит, —
слазу как излечит он свой ладикулит.
Мы пойдём на площадь посмотреть палад:
мама, папа, баба и мой младший блат.

Там плойдут солдаты с автоматами,
впеледи знамёна над комбатами.
Свелху самолёты, истлебители.
Потому что лусские — победители.

Завтла в детский садик я пойду опять,
с Юлею Евгеньевной будем лисовать.
Налисую танк и пусть стлеляет он
синими сналядами в голод Вашингтон.

ФАНТИКИ

Уходили в былое дни белые,
проступали из ночи дни чёрные.
Из говна конфетку не сделали,
фантики остались никчёмные.
Яркие, красивые фантики:

«цель», «свобода», «вера», «дерзание» —
как нелепый плач по романтике,
как излишний знак препинания.
Пустота живёт под обёрткой,
темнота сжирает фонарики.
Двойка обернулась пятёркою,
умников списали в лошарики.
Там где жили строчки из Бродского,
хор шансона льётся в предбаннике.
Окуджавы песни сиротские
не к лицу державы охранникам.
Про свободу гимны вчерашние
позабыты давно, позаброшены,
как очки роговые домашние,
как любимые гости непрошенные.
Под ночной тишиной гладь озёрная,
у костра бутылка опустелая.
Борода была раньше чёрною,
стала борода белою.

В Одессе рыболовка Соня
поймала рыбу с бородой.
Улов купить мог на Озоне
любой. Но приобрёл Playboy.
Об этой новости неделю
писали Reuters и фейсбук.
И в департаментах надели
на клерков праздничный сюртук.
Кефалью Сони, блять, рыбачки
был поражён весь шар земной.
Бери шинель, мой друг Башмачкин,
бери шинель, пошли домой.

Лесостепь кругом,
Млечный путь блестит.
Там, в краю чужом,
хариус хвостист.

Там рельеф другой,
там приют горам.
Там — проснись и пой,
здесь — напейся в хлам.

Выйду на крыльцо,
гляну на звезду,
покривлюсь лицом,
всех пошлю в туман.

На восток стучит
поездом Транссиб.
Жизнь даёт кредит
(блядь, стереотип)

в общем, мог и ты
ехать на восток
прочь от пустоты
прямо, а не вбок,

понимать бичей
у подножья круч.
Нашенский ручей,
там зовётся ключ.

Но в избе родня
и восход свинцов.
Понял бы меня
Николай Рубцов.

Мы бы с ним пошли,
не попомнив зла,
на восток вдали,
бросив все дела.

Но темно окно
и черна вода.
Кончилось вино,
в комнате беда.

В ОЖИДАНИИ СНЕГА
Всё пройдёт, и это тоже, знаешь,
как проходит поезд сквозь тоннель.
Перебором черно-белых клавиш
в вальс дождей вплетается метель.

Белые начнут и проиграют,
чёрные отпразднуют успех,
и позёмкой мерной заметая,
снег поляжет, успокоив всех:

нервных в вечной ревности влюблённых,
сумасшедших гениев пера,
семь майоров непохмелённых
и двоих толкателей ядра,

проигравших на Олимпиаде,
девять бравых феминисток, пять
«Евровиденья» лауреатов,
одного любителя поспать,

восемнадцать прелюбодеявших,
двадцать шесть бакинских комиссарш,
трёх героев — падших, но не павших,
токарей, устроивших демарш

на новокузнецком биеналле,
четверых умеренных хлыстов,
лоцмана на Беломорканале,
даже разводителя мостов

в Питере, сто двадцать пять фанатов
Дзюбы (просто больше не нашлось),
некоторых понтиев пилатов,
и «Юнону», нахрен, и «Авось»,

депутатов, что на опиатах,
и рябину, что на коньяке,
и республиканцев двух из Штатов,
и талиба в горном кишлаке.

Снег укроет всех и успокоит,
жаль, что он немного запоздал.
Был бы у меня гиперболоид,
я бы снега этого не ждал.

ГРЕЧЕСКОЕ

Ехал грека через реку.
Переехал — сразу в суд:
все, кто этак кличут грека,
пусть ответственность несут.

"Грека", ишь ты. Обскуранты,
ксенофобы, палачи,
ортодоксы, оккупанты,
мрази, старые хрычи!

Да у нас Гомер и Фидий,
а у вас повсюду Лепс!.."
Грек закончил, скушал мидий
и запил вином шартрез.

Всё закончилось бы миром —
баном, штрафом, все дела.
Но держа подмышкой лиру,
в суд Олимпия вошла.

Ни полслова, ни словечка,
взглядом всех пронзя насквозь,

постер в гору «Я — не гречка»...
Тут такое началось!

НА ПОРОГЕ

Ты жил в избешке
своей горбушкой,
не бил, не лгал,
не ниспровергал
и не был даже
замечен в краже
чужих сюжетов
или бюджетов.
Но тут вдруг кто-то
из идиотов
в тебя ткнул пальцем,
чтоб стали пялиться,
чтоб растерзали
в судебном зале,
в интеллигентах
признав агентов.
И набежали
с вынутым жалом
полмиллиона
жаб, скорпионов,
гиенных вассалов —
подлых шакалов.
И мухи це-це
на нашем крыльце...

Стояли звери
около двери,
в нас стреляли,
мы умирали.

ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ

А если Вселенная эта
конечна, то что там за ней?
А вдруг там свиная котлета
в созвездиях бычьих клешней?
А может быть толстый Киркоров
простёрся до чёрных до дыр?
Он вечен и хрупко-фарфоров
и друг у него Мойдодыр.
Нельзя исключать и колено,
колени загадочны слось:
из дыма, из праха, из тлена
взрастает коленная дрожь
вибрацией звёзды пронзая...
Иль вот ещё, мотоциклет.
Красив он и непознаваем

в сознании чуждых планет.
Но есть ли там эти планеты?
Там, может, сплошной пармезан
в кружении жгучих брюнетов,
где каждый четвёртый цыган.
А если откинуть сомненья
и всяческий натурализм,
то сразу прозреешь сопенье
и плюшевый метаболизм
как сущности Антивселенной,
где время течёт сверху вбок.
Там тоже поэт дерзновенный
страдает: что есть слово «Бог»?

КИРИЛЛ И ЕГОРИЙ

Алфавит не открыт, в деле только слова и эмоции,
и каноны сказаний понятны пока лишь на слух.
Немота языка отступает по заданной лоции,
где всему есть название, даже для мух-цокотух.

Все предметы пока ещё не наречённые —
пусть не все, но в значительном их большинстве.
И тоскуют слова в невозможности быть заключёнными,
и торопятся буквы открыться в своём волшебстве.

Но когда стрекоза станет сущностью, а не картинкою,
перейдёт в категорию басни вдвоём с муравьём,
то откроется мир той, другою своей половинкою,
где Швамбранию с Хогвартсом можно увидеть живьём.

Да, познание букв равносильно зачем-то взрослению,
впереди бесконечный и строгий из них коридор.
А пока что противятся азбуке закабалению
годовалый Кирилл и трёхлетний весёлый Егор.

НОВОГОДНЕЕ ЕСЕНИНСКОЕ

Беленький снежок,
ёлочка пушистая.
Ах ты, мой дружок,
сволочь голосистая,
ты б пошла лыжней,
поразмялася.
Может быть, хуйнёй
не страдалася.
Ох ты, Новый год,
сука календарная.
Пьяный переход
в январь угарные.
Ой ты, гой-еси,
хуеглотина.

Рыбки иваси
плещутся в блевотине.
Режутся ножом
вены, как салаттики.
Пьём. И ржём, и лжём.
Зяблики-касатики.
Но придёт зарёй
твёрдое похмелие.
Утренней порой
соберуся еле я.
Соберусь, пойду
в даль светлосбучую.
Шмаль приобрету
и пиджак по случаю.
Разлучусь с хандрой,
заживут запястия...
Год двадцать второй
обещает счастье.

Если у вас нету водки,
то к вам её не завезли.
Доверившись метеосводке,
в порт не плывут, в порт не плывут,
в порт не плывут корабли.
А хоть ты Брюс Ли.

Если у вас нету НАТО,
то вам её и не купить.
Солдаты у НАТО мордаты:
им лишь бы нас, им лишь бы нас,
им лишь бы нас оскопить.
Суки, етить.

Если у вас нету дао,
то вы пустота без дверей,
без родины, Будды и флага:
где-то внутри, где-то внутри,
вы там, похоже, еврей.
Такой вот ход с козырей.

Если у вас нету пола,
то рано писать некролог
внегендерного протокола.
Если не пол, если не пол,
то ты поищи потолок.
Так-то, милоч.

Вот и всё, вот рюкзак и собран.

В дальний путь да в последний раз,
обходясь без цензурных фраз,
стяжкой лямки сцеплю на рёбрах.

Тут бы встать в богатырский рост,
распрямить молодецки спину.
Только груза бы вполовину,
только в помощь бы мне бы трость,

чтоб колени подраспрямить,
ну а дальше — вперёд, нах остен...
Хуй. Какая-нибудь Джейн Остин
уже крепче тебя, етить.

Да и то, тут такой багаж
гордостей и предубеждений,
войн, скандалов, грехопадений,
что словами не передашь.

И не сбросить их из-за плеч,
нету кнопки перезагрузки.
Впрочем, греки иль там этрусски
завещали нам: «Некуда бечь».

Успокойся, прими прозак,
отстегнись, добреди до стула.
Жизнь прошлёпала, подмигнула.
И не встать тебе под рюкзак.

О КАЧЕСТВЕ СМЕРТИ

Чтоб сгореть в лесном пожаре
нужно очень постараться:
выбрать время, местность, ветер
и отсутствие преграды
в виде водного потока
для стены огня, спешащей
напрямик к тому вот месту,
где ты спишь в своей палатке,
водки выпив столь изрядно,
что не слышишь, как ломает
лось кустарник близлежащий,
убегая от пожара. В общем,
алкоголь прискорбен
хоть в тайге, хоть в Тегеране
по возможности последствий.

Впрочем, можешь быть ты трезвым
и вообще, интеллигентным,
столь далёким от пожаров,
как Ахматова от Лепса

или, скажем, от Маккартни.
И идти под вешним громом,
напевая Come Together
в расчудесном настроеньи
после лекции на тему
психики членистоногих,
может в Кембридже, а может
в Принстоне иль там в Рязани.
Ну неважно, просто тучи,
тучи, ветер и свобода,
дождь, гроза и бесшабашность
и предошущенье счастья.
Но пиздык — и прямо в темя
молния настоебнула,
прямо вот по беспределу,
но и хуй кому предъявишь:
так устроено в природе,
чтобы, блять, не зазнавались.

Или вот возьмём цунами,
там вообще пизда с начёсом,
если ты живешь, к примеру,
на цейлонском побережье.
Или если ты Тотошка
из Канзаса, где торнадо
шлындают туда-обратно
к Гудвину и Урфин Джюсу.
Или вдруг ты оказался
без воды в Карибском море
после кораблекрушенья
на тридцатый день под солнцем
где кругом одни акулы...

Что ты, столько в этом мире
шансов сгинуть беззаветно,
по немилости природы,
без носков и покаянья,
лишь внезапностью стихии,
что печально и нелепо,
и родне необъяснимо,
будь ты хоть сто раз священник.

И совсем другое дело
разработать план в генштабе,
чтобы стрелками на карте
взять в кольцо фланг наступленья
из десятка городишек
с сотней тысячей людишек,
разьебошить их из пушек
и в блокаде заморить.

А потом поднять над сладким
трупным запахом победы
славный стяг своей державы
и вождю о том донести,
чтобы тусклый недомерок
с воспаленным самомнением
мог заснуть в успокоении,
что день прожит был не зря,
что убитые солдаты,
что убитые младенцы,
что убитые надежды
впишут имя президента
в исторический сюжет,
где он весь освободитель,
победитель, повелитель,
и духовности ревнитель,
и хороший семьянин.

Ну а так-то, что тут спорить,
и цунами убивает,
и торнадо, и пожары,
и сосулька на карнизе,
и гонконгский, нахуй, грипп
и укусы очковой кобры,
и маньяк в лесопосадке,
только это все какая-то
бессмысленная смерть.

А не то что за Отчизну.

Время скотское, жизнь дурацкая.
Так уж выпало — всё по Кушнеру.
Залихватская песнь солдатская
полирует сегодня уши нам.

Ох ты времечко окаянное,
то, которое нам назначено.
И живём в нём, как деревянные,
И умрём, как пятак истраченный.

Что сквозь нас прорастёт, неведомо:
борщевик скорее, чем лилии.
За нелепыми фальшь-победами,
исчезаем пунктирной линией.

Двойкой в четверти жизнь окончена —
не исправить, не будет случая.
И усадыбы дверь заколочена,
и за Фирсом грядёт беззвучие.

ПИЛОТ

Под крылом самолёта порхает
вертолёт, вертолёт, вертолёт.
В вертолёте музы'ка играет
и поёт свою песню пилот

про бескрайние синие дали,
про берёзовый ситцевый край.
(По нему три зенитки стреляли,
он однажды попал под трамвай,

пил метиловый спирт с водолазом,
уползал от медведя в тайге,
был женат на самбистках два раза
и в испанском ходил сапоге,

пил из крана в плацкартном сортире,
руки мыл в тёплой крови врагов,
ел свинину в суфийском Кашмире,
но нигде не терял берегов).

Ну так вот, в этой песне пилота,
даже в гимне прекрасной стране,
пелось нежно-восточное что-то,
типа, «ах, Шаганэ, Шаганэ».

Или Лейла, а может Маруся,
иль какой, прости господи, Стас,
ну, неважно. Там пелось: «Вернусь,
и поедem с тобой на Кавказ,

на Байкал мы с тобою поедem,
а захочешь — и в Биробиджан.
Будем вместе исследовать йети,
или даже, поверь, вологжан.

Всё в руках наших юных и дерзких...».
Но наушник взрычал невпопад:
«Ноль-седьмой, заебал своей песней.
Продолжай патрулировать МКАД».

ПОД НАСТРОЕНИЕ

Опять сентябрь, скончалось лето,
и тучи тянутся на юга.
И моя песенка будет спета,
и за дождями придут снега.

И перелётной последней птицей
трилистник клёна падёт на пруд.
Я вам не буду ночами сниться,
вернее, сам не сочту за труд.

Дышите ровно и спите крепко,
не стоит прошлое странных снов,
где небо в клетку и время в клетку,
как яркий маркер первооснов

текущей жизни. Неважно, впрочем.
Таков сценарий, таков финал.
Ты просишь милости: «Авва, Отче!» —
радар не считывает сигнал.

Исполнен иск от судьбы-истицы —
стереть истекшую жизнь в золу...
Я вам не стану ночами сниться.
Я буду тихо сидеть в углу.

Никого не будет в доме,
кроме спившихся ежей
из Республики из Коми.
И немножко латышей.

Театр уж полон, ложи блещут,
забит духовностью партер.

КЛЁН

Гонит осень вдаль журавлей косяк,
так уж вышла жизнь, наперекосяк,
на перекостях, на дурной золе...
Кончился бензин, датчик на нуле.

С полным баком сил выходил на старт,
и восторг душил, и дурил азарт,
и надежд звенел чистый вечный зов,
жизнь несла вперёд, да без тормозов.

Где случился сбой? Не узнать теперь.
Может, не открыл правильную дверь
или зря обнёс берегом порог.
Кто-то сделать смог, ну а ты не смог.

Ждал ли соловья — кружит вороньё,
песен ли хотел — стоны да вытьё
слышатся окрест. Дом твой озверел,

из него идёт чёрный артобстрел.

Мёртвою водой рюмка с горкою,
мне б её накрыть хлебной коркою,
помянуть себя давнею страной,
там, где клён шумел над речной волной.

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ

Мороз и солнце, день чудесный.
Мон шер, ты помнишь: в Поднебесной
мы были ханьцы, а не русь...
Но я отныне не боюсь
признаться, что все были правы —
Кун-цзы и Лао-цзы, и Мао:
когда поёт под сердцем грусть,
ты вспомни хруст снегов державы
с Маньчжурии до Ямантау,
и хуй с ним, с дао. Ну и пусть
поёт в наушник Розенбаум.
Ни хао, браза мой, ни хао:
ты ныне русь - не плачь же, право.
Тебя стыдить я не берусь.
Здесь Скандинавия направо...
Пойду-ка я, чувак, напьюсь.

ПОДРАЖАНИЕ ВСЕМ

— Мне страшно, милый. Век надменный
глядит сквозь нас, мы словно тени.
— Не тени, милая, а трупы.
Мы тонем, заживо сгнивая,
в безвременье унылых лет.

— Как больно, милый мой, как странно
остаться вдруг без кислорода
среди счастливого народа.
Ты не находишь? — Я? Нисколько.
Другого нам народа нет.

— Но отчего? — Так мы ж иные,
мы тени, верно ты сказала,
мы сновидения былого,
того, что даже в снах являться
народу здесь запрещено.

— Мой бедный Юрик, так напрасно,
никчемно, гибельно, ужасно
заканчивать свой бранный путь.

— Да, дорогая, трудно спорить,

финал - прескверное говно

у этой пьесы захудалой.

— Так, может быть, начать сначала?

Поправить сцены, диалоги,
переписать течение драмы
и измененья закрепить?

— Нет, шансов нет уже, родная,

из рая мы дошли до края
конечной бездны. Нам осталось
познать конечную усталость.

И умирая, дальше жить.